

PG3476
.I 9
B75
1922

83

Кол. П

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

Вс. ИВАНОВ

БРОНЕПОЕЗД
№1469

W $\frac{262}{47}$

МК-1

ГОС-ИЗДАТ. МОСКВА 1922

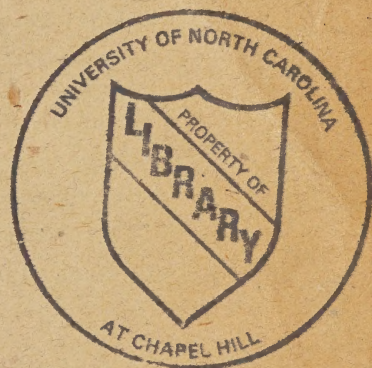
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

Всев. ИВАНОВ

БРОНЕПОЕЗД

№ 14,69

ПОВЕСТЬ



БРОНЕПОЕЗД № 14,69



a 00003 027717

ГИЗ. МОСКВА — 1922 г.

Гиз. № 2886.

РЦ. Москва. Вх. № 1386.

10,000 экз.

Типография МОГУБСОЮЗА, аренд. у МСНХ, Мясницкий пр., д. 2.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

„Партизаны у рельс!“.

I.

Цифры блестели перед глазом: 85,64 и еще 0000... как снежные чётки... На дверях купэ, на рамах окна, на ремне —кобуре револьвера. И точно огромная мясистая цифра—8, на койке, упавая коротко-стриженной головой в огромные—как степные дороги—плечи: прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка: тоже цифры и английские поджарые—словно галеты — буквы.

— Что-ж?... „Стекаем: гной из раны... на окраины... Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Но-о!.. Я-ж, говорю, вам, прапорщик? Потом куда?... В море.

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться. Надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «сплошь болезнь».

Капитана Незеласова уважал, потому повторил:

— Без леченья плохо. Вам.

Незеласов торопливо выдернул сигаретку:

Заклёпаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как вам стронуться хоть немного... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали всё—нуж-

ны, очень нужны, до-зарезу нужны, а вдруг ра-а-ссчет получите... И не рассчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

— О, рабы нерадивые и глупые!

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаба, нельзя...

— Болезнь. У вас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри вышло... водка не катится, не идет... От табаку, слякоть, вонь... В голове, как насадка, да у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!.. копошится теплое, слизкое, того гляди.. вылезет. Преодолеть что то надо, а что, не знаю, и не могу...

— Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб тупо посмотрел на капитана:

— Непременно женщину. В такой работе — каждомесячно. Я здоровый, — каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать....

— Можно быстро, здесь беженков много... Цветки! Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестя ее стены, распахнутые окна и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства:

Шел, похожий на новое стальное перо, чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесанные и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а, может быть, и нет подушек — мешок под головой.

— «Портятся люди,» — подумал Обаба. Ему захотелось жениться.

Он сплюнул в плавок и сказал:

— Ерунда!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеет потом пухлое веко Обаба. Слюняв хлюпающий голос:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб взглянул в окно. Незеласов — через его плечо.

Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов. На платформах орудия и еще что-то, за глазом, их — Обаба и Незеласова... всегда, казалось, рассматривают его, голого. Голый Незеласов — костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов — углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают... Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельс Вершининский отряд показался... в городе...

Обаб грузно отодвинулся от окна:

— Жида, капитан. И в городе — жида и у Вершинина — жида. Дайте сигарету.

— Придут японцы... еще кто-то. Прикажете воду набирать... непременно... сейчас.

— В появлении? Опять! Нейметя.

Обаб ударил себя по ляшкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал!

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокой когда, — мясо ржавеет...

Обаб степенно вздохнул. Вздохнули потные острые скулы, похожие на обломки ржаного сухаря — вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас — в Барнаульском... уезде — уборка. Рука по возже зудится...

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик... кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит следующий. Кто?

— Следующий?

— Вас спрашивают...

— Генерал-лейтенант Сахаров.

— Ага?.. Он где, где!..

— Не могу знать.

— А... где командующий армией?

— Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: „ну, и не рассуждать — исполняйте приказания“, — а вместо этого от-
вернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил ти-
хонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами по телеграмме... Пойдите.

Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Раз воду, так воду... Стрелять, будем стре-
лять, — очень просто.

И, как гусь неотрошными крыльями, колыхая галифэ, Обаба шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма...
Очень нужно... Где?..

II.

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых фран-
цузских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону и, обогнув
обшитые стальными лентами вагоны бронепоезда, он брел среди
теплушек эвакуируемых беженцев.

„Ненужная Россия“, — подумал он со стыдом и покраснел,
вспомнив: — „и ты в этой России“.

Нарумяненная женщина с толстым задом, напоминающим два
мешка, выпадающих из-под юбки, — всколыхнула в теле пред-
ложение Обаба. Капитан сказал громко:

— Дурак.

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и ма-
ленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцвет-
ший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На

гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояли.

Пахло из теплушек больным потом, пеленками и подле рельс пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сивозь желтые зубы, выл:

— О-о-о-ё-ё-ё...

— „Дизентерия“ — подумал, закуривая, капитан: — „Значит, капут“.

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полустгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногой с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые белые полоски кожи.

— „Редко, видно... говорить-то приходится“, — подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля — любовно проговорил старик: — атличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля — чекань монету... А вот поди же ты — бросил.

— Жалко?

— Известно жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно итти далеко... очень...

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть пошевелил затылком. Как-то плечами — остро и со свистом — вздохнул:

— Далеко. Говорят на путях-то, вашблага, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном. — А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только. Ишь. ты... Значит, нету?

-
- Никого нет...
- Совсем, вашеблага, прекрасно. Може и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я обрать попрусь, скажи-ка ты мне?..
- Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.
- И то говорю — умрешь еще дорогой.
- Не нравится здесь?
- Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец, так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, Бог его знает! Фальшиво живет. Зачирвивешь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?
- Не знаю, — ответил капитан.

III.

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка; китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом в каштановом манто, подпоясанным бичевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шопотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели, и все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции—солдаты звали его „четырёхэтажным“—большеголовый, с седыми прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. — Во Владивостоке — большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.

И втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:
— Няньку генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, чорт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звенением шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп солдата-фельдфебеля. Лоб фельдфебеля был разбит и на носу и на рыжеватых усах со свернувшимися темно-красными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.

— Партизаны его... зашептала беженка в мантию, подпоясанная бичевкой.

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... партизаны...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом мантию и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте, сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину.—Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов хлопнул дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к чорту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то, неразборчиво и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах...

— Телеграмма № 12541, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать... Кто есть.

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним, другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски, стараясь ясно выговаривать букву р.

— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть коман-н-тил-л-рр-лован вместе...

И внезапно повышая голос, выкрикнул очевидно твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. а этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потев и кашляя, объясняли.

— Хорошо, — сказал Незеласов. — Прикажете, Обаб, прицепить вагоны... с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!.. — визгливо кричал, матерной руганью обертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд под № 14-69.

Капитан Незеласов бежал внутри поезда, грозил револьвером и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Непонятно коротко просвистел кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочни-

ков, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром—падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV.

А в это время китаец Син-Бин-У лежал на траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен-Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня жень-шеня и пища ее была у-вэй-цзы; петушии гребешки; ма-жу; грибы величиною со зрачок; чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого и весьма все это было вкусно.

Но красный Дракон взял у девушки Чен-хуа ворота жизни и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:

— Бегут, братцы мои, бегут! В недуг души ударило, о земь бьются, трепыхают! А наше дело не уснуть, а город-то он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем. Об пески шипели сухие травы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Человек чужих земель.

V.

„Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бронепоезда № 14.69, партизанские шайки Вершинина—рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника в сопках продолжается. Начбронепоезда № 14.69 капитан Незеласов. № 8701.-7.19“.

VI.

И вот:

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие, спелые травы и вялый ветер.

И тело у них было, как граниты сопок, как деревья, как травы; катилось горячее, сухое, по узко выкопанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике,—пустота, бессочье.

Шестой день партизаны уходили в сопки¹⁾.

Казачьи раз'езды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади—по линии железной дороги—и глубже: в полях и лесах—атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семьями и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

VII.

Китаец Син-Бин-У, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окорoku:

— Японец для нас хуже барсу²⁾. Барс-от допреж, чем манзу³⁾ жрать, лопотину⁴⁾ с него сдерет. Дескать, пусть провертится, а японец-то разбираться не будет—вместе с усями⁵⁾ слопаёт.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окорoku позади отряда.

¹⁾ Сопки—покрытые травой горы (Д. Восток), но часто в В. и З. Сибири сопками называются вообще горы, возвышенности.

²⁾ Тигр.

³⁾ Китаец (обл.).

⁴⁾ Одежда.

⁵⁾ Род китайской обуви.

Широкие—с мучной куль—синие плисовые шаровары плотно обтянулись на больших, как конское копыто, коленях, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Рассей-то, Никита Егорыч, беспрерывно вавилонскую башню строить будут. И разгонят нас, как ястреб цыплят, беспрерывно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты тала-бада, по японски мне выкусишь! А Син-Бин-У то, раз'язви его в нос, на русском языке запоем. А?

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая; лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря; в жарких, наполненных тоской, запахах земли и деревьев.

Вершинин перебрал винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал.

— Не нравится!

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, турнуть здорово надо. Набил им брюхо землей—и в море.

— Японец народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски—будто и курево, и дым идет, а так—баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. На верху в скалах сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Патеха-а!

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю, жрите, мол, а то все равно бросите.

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тяжесть...

Син-Бин-У сказал громко:

— Казаки цау-жа! Нипонса куна, мадама бери мала-мала. Нехао, казаки нехао! Кырасна русска¹⁾...

Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось.

— Шанго²⁾!..

Син-Бин-У в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

— Пылюха-о³⁾.

И тоскливо оглянулся.

Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятении и злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов—итти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и тонко с плачем ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо в падах темнел дуб, бледнел ясень.

Налево—от него никак не могли уйти—спокойное, темнозеленое, пахнущее песками и водорослями—море.

Лес был, как море, и море, как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопки, и мужики через проветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син-Бин-У казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе желают увидеть иное, ожидаемое.

¹⁾ Казаки плохи. Японец—подлец, женщин берет... Нехорошо. Казаки плохи...

²⁾ Хорошо.

³⁾ Плохо...

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

Тосковал он без моря — и жизнь для него была вода, а пять пальцев, — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней — когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые — среброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его „вершининское“ счастье, и когда волость решила идти на японцев и атамановцев, — председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы, неизвестно еще когда, — заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель, на дикую землю.

Многое было непонятно — и жена, как в молодости, не желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, американцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У пришиби ¹⁾ яра бомы ²⁾ прервали дорогу и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матёра ³⁾ рвались на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи ⁴⁾ потока.

Перейдя подвесный мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привал решили не делать. Пройти Давью деревню, а там в сопки близко и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины ⁵⁾ Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпичей, подогнал охлябью игренюю лошадь и сказал:

¹⁾ Подножие яра — крутой скалистый берег.

²⁾ Камни, преграждающие течение потока.

³⁾ Главная сила струи потока.

⁴⁾ Сильнейшие струи матёры.

⁵⁾ Ограда вокруг деревни, в которой пасется скот.

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а, чаем, придет завтра. Ну, вот мы барахлишко-то свое складывам, да в сопки с вами думам.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости должно. Хрисьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строгат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись трупы людей, скота и телег.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдась. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их,—сказал Окорок,—срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда—спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и дба.

— Воюете?—спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю—тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Сё царь скликал, а теперь, — на, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно, что ехали-ехали, дедушка, а телега-то—трах! Оказываются, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторял:

— Не пойму я... А?..

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел бормоча:

— Ну, ну... каки нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и огляделся.

Собачонка не переставала визжать.

Один из партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался:

— Ишь и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит?

— Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожжет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул:

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцем связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то?..

— Зол уж и росту, бают, выше сажени и борода..

VIII.

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипло в плоскую лошадиную спину, лицо танцовало, тряслись кулаки и радостно орала глотка:

— Мерианца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди их шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу?—отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он!—закричал Окорок.—Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать.

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы во-лости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну муку принимаю! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцы-то! На трашпанке в жеотян-как молоко везли! Дурной народ, воевать приехали, а молоко жрут с щиколодом. Одно-го мы сняли, а этот руки задрал. Ну, и повели. Хотели старости отдать, а тут ишь—целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и как с судьи не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели.

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

-
- Жгут, сволочи!
 - Распоряжаются!
 - Будто у себя!
 - Ишь забрались!
 - Просили их!

Кто то пронзительно завизжал.

- Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, кричал:

- Обо-жды!..

И добавил:

- Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на растенувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали:

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело убить. Вон их сколь на улице-то навалили. А по-моему, товарищи,—распропагандировать его—и пустить. Пушай большецкую правду понюхат. А я так полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

- Хо-хо-ха!..
- Хе-кхе!..
- Хо-о!..
- Прореху-то застегни, чорт!
- Валяй, Пентя, запузыривай!..
- Втемяшь ему!
- Чать тоже человек..
- На камне и то выдолбить можно.
- Лупи!!

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

- Ты вникай, дурень, тебе же добра хотят.

Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица мужиков, растегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мямл в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая
кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там раз'ясни. Подробно. Не хорошо, мол.

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди все хорошие, должны понять. Такие-ж крестьяне,
как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис
жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглажи-
вая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас,
поди, этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душат у
тебя чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— A dont understand!..

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущенье.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, —
сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя.

— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, сто-
ял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, воршила его лицо
тоска.

Син-бин-У лег на землю подле американца, закрыв ладонью
глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука-мученическая,—сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны,—сказал Знобов,—кабы с
картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами учебник закона божия для сельских школ.

— Може по закону?—спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать.

Не попы.

— А ты попробуй,—предложил Васька.

— Как его. Не поймет, поди!

— Может поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин,—сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступаясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap!

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, почему-то ломанным языком прокричал:

— Советска республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запытали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed.

Мужики радостно захохотали.

— Понимает, стерва.

— Вот, сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал раз'яснять.

— Этот с ножом-то—буржуй. Ишь брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь на бревнах-то, пролетариат лежит, понял? Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат!.. We!

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок, схватив его за голову и заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень.—говорил лисовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он—пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то—японец, американка, англичанка—вся эта сволочь, империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Awy!

Знобов с ожесточением швырнул фуражку о землю.

— Империализм с буржуями—к чертям!

Син-Бин-У подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Кытайси ресыпубылика-а. Мери-канысы ресыпубылика-а пухао. Нипонсы, пухао, надо, надо ресыпубылика-а. Кыра-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец руки кверху, прогорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем. Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX.

Партизаны с хохотом, свистом, вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина, голоском затянул:

„Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку.

Уродись моя тоска мелкой травкой—муравой.

? Ты не сохни, ты не блежи, цветами расцвети“...

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой.

„Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел—
Много в саду вишеня, винограду, грушенья.“

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер, мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

«Я рассеявши пошел.
Во зеленый сад вошел.

— Э-э-эх...

— Сю-ю-ю...

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопку.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

В городе.

Х.

На широких плетенных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, похожие на мокрые веревки угрей, толстые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря—сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епенга-а!.. Капитана Луска! Кла-аба!.. Тлепанга-а!.. Покупайло еси?.. А-а?..

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнувший илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты.

Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело. Когда строить то будем? Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у бороды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки — рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город...

— „Веселый человек,“ — подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шопотом:

— Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:

— Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...

— Может и со страху плакал?

— Не сикельди. Главное раз'яснить надо жизнь человеку. Без раз'яснения, что с него спросишь, олово?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.

Матрос привстал на ципочки. Глянул в толпу:

— Ишь, сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь.

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос. Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова — ухнешь в падь! Суши там кости. Кайся.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли ядонцы, похожие на вырезанные из брьюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тцанные на

ситце, пестрели серо-лиловые карабли; белоголовые китайские шуны, лодки рыбаков,

— Кабак, а не Рассея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди,—мы им холку натрем.

— Пошли?—спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом.

Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строят. Да и ухнул он взял! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафэ, затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, измороженные отступлением лошади, расслабленно хромя, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания. Их было совсем немного, но все почему то видели—весь город развален снарядами. А что если это не так, значит только заклеено бумагой, как заклеивают рамы окон вместо стекла.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по иному, из-за далекой овиди — тонкой и звенящей, как стальная проволока, — задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то?—спросил он Знобэва.

Знобов думал об японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо:

— А нет. У меня другое на седце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые то потому и не выдают.

Он ухмыльнулся:

— Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?

— Трoих взяли.

— Да-а... Иди к нам в сопки.

— Камень, лес. Не люблю... скучно.

— Это верно. Домов из такого камню хороших можно набухать. Прямо—Америка. Валяется без толку, ни жрать, ни под голову. Мужику ничего, а мне тоже скучно. Придется нам сднako в город наступать.

— Валяйте. Вершинин как мыслит?

— Вершинин—туча, куда ветер,—там и он с дождем. Куда мужики,—значит и Вершинин...

XI.

Председатель подпольного революционного комитета, товарищ Пеклеванов, маленький, веснучатый человек, в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестя по новому:

— Вы часто приходите, товарищ Знобов,—сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Об'яростил. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Мы вас известим.

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь—не разбирает.

— Пройдет.

— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать. Мост взорвать хотят.

— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно.

— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.

Помолчали. Пеклеванов жарко истощенно дышал:

— Дисциплины в вас нет.

— Промеж себя?

— Нет, внутри.

— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету...

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.

Матрос протянул ему руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

— Мужики все насчет восстания, ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал.

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце то насквозь прожечь... Мы тут американца одного—до слезы...

У Пеклеванова впала грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий—в очках:

— Как-же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

— «Хороший ты человек, а начальник... того»—подумал он, и ему захотелось увидеть начальником здорового бритого человека и почему то с лысиной во всю голову.

На столе валялась большая газета, а на ней хмурый, черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахара.

— «Птичья еда»—подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстанья на трамваях, со всех концов города появляются восставшие рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять. Вы вертите уже...

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока, да.

— А мало этого, товарищ... Ей-Богу, мало... Ну, возьми...

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как кура на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно, как вшей могут сдавить. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Мужик хочет.

— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

— А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

— Водкой поподчую, хотите?—предложил он.—Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись—прохлаждайся. А сначала не понравился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии...ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может миллион народу срезал. Так мы его... тово...

В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку, поскольку выходит и на какого чорта...

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля—не слушат человеческого говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-Богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

Да а!.. предыдущий...

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скривив пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям,

XII.

На улице Знобов увидел у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозы крылышки, усики.

— Обожди-ка!—сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Нью? Сиво лезиш?

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чужка ты, едрена вошь. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В Бога веруешь?

Японец прикрыв глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц, оглядел поперек Знобова—от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика суюпочь. Нью?..

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел вслед на задорно блестящие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, я тебе скажу!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Нитаец Син-Бин-У.

XIII.

Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом пленую из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.

Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.

Матрос кричал с трашпанки:

— В городе, товариш-ши, восстань!.. Крой... Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать... Чтоб немедленно. Рабочие бастуют, одним словом—крой и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручам... А я милицию организую.

И ускакал в сопки веселый матрос.

Облако над сопками словно красная лента...

XIV.

Эта история длинная, как Син-Бин-У возненавидел японцев. У Син-Бин-У была жена из фамилии Е, крепкая манза¹⁾, в манзе крашенный теплый кан²⁾ и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы³⁾.

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.

Только щека оказалась проколота штыком.

Син-Бин-У читал Ши-цзинь⁴⁾, плел цыновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл цыновки и ушел с русскими по дороге Хуан-ци-цзе⁵⁾.

Син-Бин-У отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.

¹⁾ Хижина.

²⁾ Деревянные нары, заменяющие кровать.

³⁾ Род китайского проса, употребляемого в пищу.

⁴⁾ Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамотность.

⁵⁾ Дорога Красного Знамени, восстаний.

Ноги плещутся в море и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син-Бин-У задирает ноги и ругается.

— Цхау-неа!..

Син-Бин-У не слушал, что говорит густоусый и высоконо-
сый русский. Син-Бин-У убил трех японцев и пока китайцу ни-
чего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-
зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом
и травами.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарел-
ки; пулеметные ленты, винтовки.

На телеге с низким передком, прикрытый рваным брезен-
том, метался раненый. Авдотья Сещенкова поила его из дере-
вянной чашки и уговаривала:

— А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набила между телег. И телеги, ка-
залось, тоже вспотели, стиснутые бушующим человеческим мясом.
Выросшие из бород мутно-красными полосками губы блестели
на солнце слюной.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на
штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком,
орал:

— Не давай землю японсу у!.. Все отыдем! Не давай!.

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало.
Иные слова не приходили:

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

— А-а-а!..

И вот, на мгновенье, стихла. Вздохнула.

Ветер отнес кислый запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока рыжее, как подсолнечник, буйно ме-
талось в толпе и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то, милены товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Ни-
кита Вершинин орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Придет суда скоро армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-е-да-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонко в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:

— А верю, ведь, верна!..

— Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец—что, японец—легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна!—визжал мужиченко.

Густая потная тысячная толпа топтала его визг:

— Верна-а...

— Не да-а-ай!..

— На-а!..

— О-о-о-у-у-у!!

— О-о!!!

.....

XV.

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

— Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

— Нисиво,—проговорил китаец,—мне ни нада... Мне так зынаю—зынаю псе... шанго.

— Ноги-то подбери!

— Нисиво. Солнышко тепло еси. Нисиво—а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:

— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман... У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... да-а... Мост вот взорвем, строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом выпытывающе спросил:

— А ты.. как думаешь... А? Пошто эта, а?..

Син-Бин-У, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

— Ни зынаю, Кита. Гори-гори!.. Ни зынаю!..

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

— Нисиво!.. нисиво ни зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

— Ну вас к чорту!.. Никто не знат, не понимает... Разбудили, побежали, а дале что?..

И осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окорку:

— Не то народ умом оскудел, не то я...

— Чего?—спросил тот.

— На смерть лезет народ.

— Куда?

— Броневи́к-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несёт людей.

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

— Жалко тебе?

Подошел Знобов; подмышкой у него была прижата шапка с бумагами.

— Подписать приказы!

Вершинин густо начертил на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.

— Ране то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с палкой и ладно... знают.

Окорок повторил:

— Жалко тебе?

— Чего?—спросил Знобов.

— Люди мрут.

Знобов сунул бумажки в папку и сказал:

— Пустьковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.

— Зачем идешь?

— Землю жалко. Японец отымет.

Окорок беспутно захохотал.

— Эх, вы, землехранители, ядрена-зелена!

— Чего ржешь?—с тугой злостью проговорил Вершинин:— кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

— Ну, пророк!

— Рыбалку брошу теперь.

— Пошто?

— Зря я мучился, чтоб опять в море итти. Пахотой займусь. Город-от только обманывает, пузырь мыльной, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани—людей, трамвай, дома,—и сказал с неудовольствием:

— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отыдем и трудящимся массам—расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

— Японскова мидако колды расстреливать будут, вот завизжит курва. Патеха-а!.. Не ждет поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

— Им виднее,—нехотя ответил Вершинин.

Над песками—берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница.

Высоко на скале человек, в желтом—как кусочек смолы на стволе сосны—часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син-Бин-У сказал:

— Серысе похудел-похудел немынога... а?

— Пройдет,—успокоил Окорок, закуривая папироску.

Си-Бин-У согласился:

— Нисиво.

XVI.

Корявый мужиченко в малиновой рубаше поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда-балдой. Ты им вбей в голову, поверюют и пойдут!.. Само главное в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

— Я ведь знаю—там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем—пашня... Хорошее слово.

— Надоели мне хорошие слова.

— Брешешь. Только говорил, и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера нужна, такое племя... Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верста. И пусь, пусь, мерят... Ты-то свою меру знаешь... Хе-хе-хе!..

Мужичонко по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согрешейся водой и пошел собирать молодых парней.

— На учеье, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами, собирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

— Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом и подвластным машинкам, похожим на людей.

— Равнение на-право-о...

Вершинин до позднего вечера гонял парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривая на солнце.

— Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выпцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово-б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, хрисьянину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобоина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?
Парни захохотали.
Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:
— Рота-а, пли-и!..
Парни щелкнули затворами.
Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:
— Учит. Обстоятельный мужик. Вершинин-то...
Другой ответил ему полусонно:
— Камень, скаля... Бальшим камиссаром будет.
— Он то? Обязательна.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

П р а п о р щ и к О б а б.

XVII.

Казак изнеможенно ответил:
— Так точно... с документами..
Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.
Казак, подавая конверт, сказал:
— За голяшками нашли!
Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана.
— Ты... какой банды... Вершининской?..
Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:
— „Может... приказ... может...“
Комендант, передвигая тускло блестящие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:
— Какое количество... Что?... Где?..
Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.
„Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...“
А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с замороженной спиралью китового уса.

Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности—начала одну кишку, потом другую...

Мужик говорил закоснелым смертным говором и только при словах:

— Город-то, бают, узяли наши.

Строго огляделся, но, опять обволоклый тоской, спрятал глаза.

Румяное женское лицо показалось в окошечке:

— Господин комендант, из города не отвечают.

Комендант сказал:

— Говорят, не расстреливают—палками...

— Что?—спросило румяное лицо.

— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

— Может... все может... Но, ведь, я думаю...

— Как?

— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только...

— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в поезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчасними, а то потом возись.

Обыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка—маленький сверточок слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам?—спросил Незеласов.

Обаб как-то не по своему ухмыльнулся:

— Живость. В деревне у нас—скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Куму здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну?—жестоко проговорил Обаб.

И, точно отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой... враг революции... выходит, подлежит уничтожению.

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерундѣ. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо по-женски ругался. У салдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам—к востоку, к городу, к морю.

XVIII.

Син-Бин-У направили разведчиком.

В плетеную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его лицу и торопливо спросил:

— Кокаин, что, есть?

Син-Бин-У плотно сжал колпачки тонких, как шолк, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился.

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались,—сказал офицер, отходя.—Вешать вас надо!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас, в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный—китайскому арбузу далеко.

— Шанго,—согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут.

— Сытупай.

— Куда?

— Домой.

— Устал я. Повезут, поеду, а самому итти—сил нету.

— Семичика мынога.

— Чего?

Китаец встряхнул корзинку. Семячки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семичики мынога у русика башку. У-ух... Шибиршиты...

— Что шебуршит?

— Семичика, зелена-а...

— А тебе что же, камень надо, чтоб голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на проходившего широкого, но плоского офицера в сером френче, спросил:

— Кто?

— Капитан Незеласов, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, входит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго.

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы жадно и тоскливо посмотрели на него с перрона и зашептались испуганно.

Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннородый старик рыдал возле кипяточного крана и, когда он вытирал слезы, видно было — руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь, водой.

— Житьишко! — сказал он любовно.

XIX.

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугуино-темных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочут и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри попрежнему был жар и голод.

Солдат денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоумело докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзину, и узловатыми пальцами вырывал хлеб и, если не мог больше его с'есть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Слушив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный; визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к чорту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же

мелькали будки стрелочников и так же забитый полями, ветром и морем — жил на том конце рельс непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся,—выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом черный, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы, все-таки...

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты... Видите?..

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о „красной черте“. За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоза...

Нехорошо пахло углем и маслом. Вспоминались бушующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам крича:

— Стреляй!..

Для чего то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Являлся Обаб. Губы жирные, лицо потно блестело, и он спрашивал одно и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

— Отставь!

— Усиите, капитан!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигарету:

— Уйдите... к чорту!.. Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тянул:

— Пра-а-апорщик!..

— Слушаю,—сказал прапорщик.—Вы-то что? Ищете?

— Прорвемся... я говорю—прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Капитан снизил голос:

— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

— Мы ть. Да я их... мать!

Капитан пошел в свое купэ, бормоча на ходу:

— А. Земля здесь вот... за окнами... Как вы... вот... пока... она вас... проклиняет, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде—прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лоната... да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... догадаться. А мне тридцать лет, Обаб. Тридцать, и у меня ребенок — Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб?

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в непонятные стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло и, когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, плававший на полу:

— Глиста!..

XX.

На рассвете капитан вбежал в купэ Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте, — нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб перевернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Да, нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но, нет мне разве места... в людях, Обаб?... Поймите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его... прапорщик!..

Капитан стыдливо хихикнул;

— А. Незаметно этак, бывает... а.

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки!..

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Онанизмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

— Вы поймите... Обаб.

— Не по службе-то.

— Я прошу...

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-е-ггы!..

Они, не слушая друг друга, иступленно кричали до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал... камень. Про вас-то?.. А тут—леденец... в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

— Не смей!.. Не смей бросать!

Щенок завизжал.

— Пу-у!..—густо и жалобно протянул Обаба—Пу-усти и...

— Не пуш, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!...

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирая серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похоже было на мокрое, ползущее пятно.

— Вот, бедный, — проговорил Незеласов и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

XXI.

В купе звенел звонок — машинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

— Обаба?

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно... мы живем, да-а?.. Я до сего момента... не знаю как имя... отчество ваше, а... Обаба и Обаба?.. Извините, прямо... как собачья кличка...

— Имя мое—Семен Авдееч. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

— Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу,—сказал машинист.

— Я приказываю!

— Нельзя,—повторил машинист.—Поздно вы пришли. Переждем, тогда остановимся.

— Человек ведь!

— По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет. Обаб расхохотался.

— Совсем останавливаться не к чему. Мало мы людей перебили. Если из за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли.

Капитан раздраженно сказал:

— Прошу не указывать. Остановить после перереза.

— Слушаюсь, господин капитан,—ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идете немедленно и чтобы мне рапорт, что за труп на пути.

— Слушаю,—ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно залился гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Уже было видно на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернули железными лопатками площадок.

— Кончено,—сказал машинист.—Сейчас остановлю и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потясе тело опануло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист прыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкнул бронепоезд лес—гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал у колеса вагона. На шее выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!.. — пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Рельсы.

XXII.

Похоже — не мог найти сапог по ноге и потому бежал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы — маленькое и слабое.

Бежал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришатински, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты — реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих, измятых травах, стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, иссушенный долгими переходами взгляд и изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

— Анасимовски! Сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый на золото-шерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

— Боле, — отозвался уверенно лисолицый с россыпи. —

Кабы я грамотной, я бы тебе усю рiestру разложил. Мильен!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?..

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что-ля? — закричал лисолицый. — Жду-ут...

И хотя знали все — в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 1469. Если не задержать, восстание подавят японцы. Все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Игги...

— Японец больше воевать не хочет, — добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син-Бин-У влез на ходок и долго, будто выпуская из рта цветную и непонятно шебурчащую бумажную ленту, говорил: почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось грязное, пахнущее землей, полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

— Голосовать, что-ли? — спросил толстый секретарь штаба. Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел иступленно Вершинину:

— А ты от Бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола угодник являлся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто на-

род бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожжет японец избу-то!

— Японца я знаю, — торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик, — японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ то — пень: не понимает. А нам от греха дальше, взять да согласиться, чорт с ним — втишь-то можно... своему Богу... Никола-то своему не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

А он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин. — Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была — богов выдумают...

— Ты не хулишь, ирод, не хулишь!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры-тиковые! Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи?.. галисовать, что-ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!..

— Чаво мыслить-то!..

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на броневик, влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым, громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, — пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи, окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос, на запад.

— Чего ты?—спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это—их дело.

XXIII.

Бритый, коротконогий человек лег грудью на стол,—похоже, что ноги его не держат,—и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета Союзов. Выступление преждевременное.

Один из сидевших в углу на стуле рабочий сказал желчно:

— Японцы об'явили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет Союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Пойдут опять усмирять мужиков?

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета Союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!... Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Покажите ему!

— Это—демагогия!..

— Прошу слова!

— Товарищи!

Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:

— Разрешите огласить следующее: «По постановлению Совета Народных Комиссаров Сибири—восстание назначено на 12 часов дня 16-го сентября 1919 года. Начальный пункт восстания—казармы Артиллерийского дивизиона... По сигналу... Совет Народных...»

Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:

— За нами следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировали.

— А что?

— Взболтанный человек: бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

— Мужиков он знает хорошо,—сказал Пеклеванов.

— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует здорово. Все же... На митинг поедете?

— Куда?

— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть. Пеклеванов покраснел.

Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо в лицо сказал:

— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, в человека уверить хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке,—а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.

Пеклеванов вытер потный, веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-под выпуклых очков.

— Сентиментальность,—сказал Пеклеванов—ничего не будет! Коротконогий вздохнул:

— Как хотите. Значит заехать за вами?

— Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал:

«А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.

— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий под'ехал к палисаднику и ждал... Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У ней были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду—арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пуцу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Партия? Ревком? Наплевать мне на их всех, идиотов.

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он, и больше никто. Не пуцу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как тесина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька? Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться—струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пуцу.

Пеклеванов пригладил низенькие, жидкие волосенки.

— Придется...

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и громко, будто нарочно плача, выбежала из комнаты.

— Поехали? —спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слушал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

— Папирос у вас нету?—спросил он.

XXIV.

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как медеянская собака, лошади, об'езжал кустарники железно-дорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготавливались ждать долго и спорно. Пестрые пятна рубах—десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между раз'ездами—почти на десять верст.

Лошадь—ленивая, вместо седла—мешок. Ноги Вершинина болтались и через плохо обернутую портянку сапог больно терпяти.

— Баб чтоб не было,—говорил он.

Начальники отрядов вытягивались по-солдатски и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Ваенны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, от'езжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главню,—нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно—незнакомо пустела насыпь. Последние дни, один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами—японскими, американскими и русскими.

Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопки мужики, и было завидно. Бронепоезд № 1469 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером, глядя в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

— С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделашь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись лома—разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно.

— Все правда, да, правда! А к чему и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

— А все-таки, чудно! Может захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали.

— Ботало,

— Окурок!

— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

— Возьмем!

— Это тебе не белка, с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову.

— Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

— Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

— Этот, белобрысый-то?—спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою—даром не возьмем».

— Вот стерва,—восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил:

— Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

— Идет!

И точно, поезд был уже уже у будки,—все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.

— Успем!—говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.

— Разобрать бы и только.

С соседней телеги отвечали:

— Нельзя. А кто собирать будет.

— Мы, брат, прямо на поезде!

— В город вкатим!

— А тут собирай.

Окорок крикнул:

— Братцы, а ведь у них люди-то есть!

— Где?

— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют—есть-то люди?

— Дурной, Васьша, а как мы их перебьем? Всех?

И, разохотившись на работу, согласились:

— Все можно... Перебьем!..

— Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад—не идет ли бронепоезд. Прятались в лес, потому—люди теперь по линии необычны,—поезд несется и стреляет в них.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи увидели верхового человека.

Свой!—закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

— Снять ево?

— Какой чорт свой, кабы свой—не цеплялся б!

Син-Бин-У, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обожды!—закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здесь?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там—казаки. Около мосту-то! По-стреляли мы, да и обратно.

— Откуда?

Вершинин под'ехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро—царство небесное!..

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Правокатер!

— Дай ему в харю!

Мужиченко торопливо закрестился.

— Вот те крест—не подняли. У камня, саженьях в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!..

Из лесу свалилась посланная вперед толпа мужиков.

Один из них сказал:

— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.

— Туда к мосту итти?—спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

— Идет!—сказал Окорок.

Знобов повторил, ударяя яростно лошадь кнутом:

— Идет...

Мужики повторили:

— Идет:

— Товарищи!—звенел Окорок,—остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь.

Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы—шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

— Перережет—и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. идет!..—с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А вишь по закону—как мертвого перережут, поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положил бы его. Перережут и останутся, а тут машиниста, когда он выйдет—пристрелить. Можно взять.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

— Кто хочет товарищи... на рельсы чтоб и перережет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли тела, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

— Товарищи!—закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

— Куда—крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к..! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудела в лесу земля...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. горит!..

Палевобородый мужик, на четвереньках, приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щеки песок, посмотрел на гул: голубые гудели деревья, голубые звенели шпалы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза как две алые слезы...

— Не могу-у!.. душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх:

— Куда?—спросил Знобов.

Син-Бин-У, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкмуучна-а!.. Васикъа!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, лицо желтое. Шпала плакала. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали—не знал, не видел Син-Бин-У...

— Не могу-у!.. братани-и!..—плакал Васька, отползая вниз.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син-Бин-У был один.

Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син-Бин-У опять лег.

И еще потянулась изумрудноглазая кобра—вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец лег опять.

Корявый палевобородый мужичонко крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер то бы оставил. Куды тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син-Бин-У вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно багрово-блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо, как голубое сукно были деревья...

И труп китайда Снн-Бин-У, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Смерть капитана Незеласова.

XXV.

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.

Капитан Незеласов был в купэ, в паровозе, по вагонам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

— Пошел!.. пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сейчас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг не от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь:

— Ну вас к чорту... к чорту!!

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед—от моста до будки стрелочника было шесть верст—как огромный маятник метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь... Как кровь...

Видно было, как из кустарников подпрыгивали кверху тяжело раненые партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, что были живы, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник и глубоко темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Темнели лампы, и лица казались светлее желтых фителей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка и левая рука тискала что-то в воздухе. Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал:

— Сами знают!

И тут опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дров в костер было опасно, то кидали издали и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы.

Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий.

Так по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев.

Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, и он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой.

— Главное, капитан... стереотипные фразы... „патронов не жалеть“!..

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту. но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: „А на что я нужен“?

Но тут:

„Хорошо бы капитану влюбиться... бороду в поларшина! Генеральская дочь... карьера... Не смей!..“

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказа!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста— маленького деревянного мостика через реченку, которого почему-то не могли взорвать партизаны—и за будку стрелочника, но уже все ближе. навстречу—как плоскости двух винтов ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди и говорили:

— Прости ты, Господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И как за стальными стенками перебегали с места на место мысли и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях, рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купэ. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил... ни снарядов!.. ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо. Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!..—пикал щенок.

Капитан схватил его и сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая, широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся у костров камни

и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную бровь вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом—откуда, почему? И гудел не переставая паровоз:

— А-у-о-е-е-е-и.

XXVI.

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненных и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненые, подпрыгивая на корнях, раскрывали воздуху и опадающему желтому листу свои полые куски мяса. Листы при-сыхали к крови выпачканных телег.

Рябая, маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч?

— Чего?—хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень!

— Тебе что,—ты не конокрад. Известно—мир!..

Васька после смерти китайца ходил с'ежившись и глядел всем в лицо с вялой виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри не ладно.

— А ты молчи и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая то, парень, с перьями.

Васька тихо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я у царю-то, почесть, семь лет служил—четыре года на действительной, да три войны германской.

-
- Хорошо мост-то не подняли...—сказал Знобов.
- Чего?—спросил Васька.
- Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..
- Васька уткнул курчавую глову в плечи и поднял воротник.
- Жалко мне, Знобов, китайца-то! А, думаю, в рай он удет—за крестьянскую веру пострадал.
- А дурак ты, Васька.
- Чего?
- В бога веруешь.
- А ты нет?
- Никаких!..
- Стерва ты, Знобов. А, впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без веры нельзя—у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.
- Вершители!..
- Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:
- Пусти ты меня, Никита Егорыч,—постреляю хоть!
- Нельзя. Раз ты штаб, значит и сиди в штабной квартире.
- Телеги-то!
- Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.
- Вершинин вдруг озлился и столкнул секретаря:
- Сиди тут. А ночь, как придет—пушшай костер палат. А не то слезут с поезда-то и в лес удерут, либо, чорт их знат, што им в голову придет.
- Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему бронепоезду:
- Не уйдешь, курва!
- Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:
- Ну-у!..
- Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина.
- А ты не гони, не догонишь! А убить то тебя за дешеvu монету убьют.
- Никуда он не убежит. Но-о, пошел!
-

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

— Гони! Весь штаб делает смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телеги бежали мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали пронсящий мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами неся навстречу.

Васька зажмурился.

— Высоко берет,—сказал Знобов,—вишь не хватат. Они там, должно, очумели, ни чорта не видят!

— Ни лишева!—яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин был огромный, брови рвались по мокрому лицу.

— Не выдавай, товарищи!

— Крой!—орал Васька.

Телега дребезжала, об колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря, пропадать, так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд и Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были, как трупы, и трупы, как бревна—хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревели сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков потом.

Пихты были как пики и хрупко ломались о броню подхитившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали.

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу итти.

Как спелые плоды от ветра падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше—земля жалела. Сначала их были десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни—и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневи́к продолжал жевать, не уставая и точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку.

Потом остановился.

Тогда то далеко еще до крика Вершинина:

— Пашёл!.. Та ва-ри-щи!..

Мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела, рвали груди, пробивая насквозь, застегивая навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды и из потного мокрого волоса лезли наружу губы:

—О-а-а-а-о-о!!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, и не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, стукнувшись у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках осторожно и, почему-то, обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое и только на глазах блестели слезы.

Броневи́к гудел.

— Заткни ему глотку-то, — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети:

— Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, торопясь куда-то, умер.

Партизаны опять отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов.

XXVII.

Мокрые от пота солдаты, громяхая битами, охлаждажали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд тряся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин и затвор его был удлинительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бежал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо. — Мерзавцы!..

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было б похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц среди кустарников, похожих на свалывшуюся желтую шерсть, видно было, как пробегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки.

За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые, темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопки были эти торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры.

И солдаты чувствовали этот страх и, чтоб заглушить непонятно хриплый рев из кустарников, заглушали его пулеметами.

Неустанно, несравнимо ни с чем, ни с кем — бил по кустарникам пулемет.

Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купэ. Зайти туда было почему-то страшно, через дверку виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купэ, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот непонятно где визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат, такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бежал среди них и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышевая трость.

Уже уходил бронепоезд в ночь и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что если он услышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело.

Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напсит!.. — сказал Незеласов торопливо. Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

«Н, ах...н, пх...н, ах!..

Другой с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалывшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дров. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

Ерунда.

Они полежат—эти в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

...Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:

— Оо-у-оел..

И тонко, тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими серыми щеками сказал:

— Причитают... там в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы провала дыру в кулак.

— Почему видно все во тьме?—сказал Незеласов.

Там костры, а тут должно быть темно.

Костры во тьме, за ними рев баб. А может быть сопки ревут?..

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки.

Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа и на ней, как цветок на шелку,—глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце.

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды вашу!.. туды вашу!..

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидел Незеласов у своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многие забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести.. тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачкавшиеся в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза—тьма. Ослеп капитан.

— Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь,—тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

— Тьма. В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. По песку легче держаться и можно куда-то убежать...

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках, в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногой капитан почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

...Его, капитана Незеласова, мясо...

Котлеты из свиного мяса... Ресторан „Олимпия“... Мексиканский негр держирует румынским... Осина... Осень...

Поезда на насыпи нет. Значит—ночь. Пощупал под рукой—волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как су-конка, прореха, гвоздем разорвал...

...Кустарник—в руке, а другой руки не чувствует. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

А на сапоге карабин, значит тоже из поезда ушел.

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пахнул кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифэ было похоже на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажете выезжать?

— Пошел к чорту!

Беженка в коричневом-манто зашептала в ухо:

— Идут! идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки оказывается не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет, ишь их сколько, бородатые, сволочь в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, — умер.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

П е н а.

XXVIII.

В жирных темных полях сытно шумели гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтый чешуе дракона — дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!...

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

Может быть дракон китайский из сопок, может быть леса.. Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!..

У дверцы купэ лысолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричал:

— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым голо: огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настезь. Двери настезь. Сундуки настезь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок...

За насыпью — другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит...

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо! !

— Конец чертям!..

— Бу-де-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит:

— Мы тебе покажем!

Кому, кто?

Неизвестно!

А грозить всегда надо!

Красная рубаха, красный бант на серой шинели.

Бант!

О-о-о-о!..

— Тяни, Гаврила-а!..

— А-а-а!..

Бант.

Бронепоезд „Полярный“ за № 14.69 под красным флагом.

Бант!..

На рыжем драконе из сопок—на рыжем—бант!..

Здесь было колесо — через минуту за две версты. Молчат рельсы, не гудят, напуганы...

Ага?

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом.

— Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не знаю — какой народ.

— Про народ кто знает?

— Сам бог рукой махнул...

— О-о!..

— Ну вас, грит, к едреной матери!..

О-о!..

Литографированный Колчак в клозете на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят не — чувствуют...

— А-а-а!..

„Полярный“ под красным флагом...

Ага?

Огромный, важный — по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий:

— О-о-о!..

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не удастся; сам куда-то пытается прыгнуть и телом и словами:

— В Америке—со дня на день!

Орет Знобов:

— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

— Изучили!..

— В Англии товарищи!..

Вставай проклятем заклейменой.

— О-о-о!!

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны, как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

— Ревком, товарищи, имея задачей!..

— Знаем!..

— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,

Канареючка-а!..

На кровати—Вершинин: дышет глубоко и мерно, лишь внутри горит—от дыханья его тяжело в купе. Хоть двери и настезь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий.

Рядом—баба. Откуда пришла—поддалась грудями вперед вся, трепыхает.

Орет Знобов;

— Нашла? Он парень добрай!..

За дверцами кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то... сволочи, Ваську—убили... Я им за Ваську пятерям брюхо вспорю—за Ваську и за китайца.. Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за Ваську-то!..

XXIX.

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видно было при месяце ее белые зубы—холодные и охлаждающие тело и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая—земляная.

И в ногах—тоже...

— А та-та-та!..—Ах!..—Ах!..

Это бронепоезд—к городу, к морю.

Люди тоже идут—

Может быть туда же, может быть еще дальше...

Им надо идти дальше, на то они и люди...

— Я говорю, я:

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю—и радуюсь... Верю...

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются—он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля и он—небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить. Все так надо и так будет—всегда и в каждом сердце.

— О-о-о!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну-у!..

Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах; радуются им, что ли, гнутся стальные листья; содрогается огромный паровоз и тьма масляным гулом расплзается:

— У-о-у-а... у-у-у!..

Бронепоезд "Полярный"...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале, небойсь, и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила и потому должно быть было весело, холодно и страшновато.

Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа Знобовых—лохматых, густо-волосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по русски, нарочно коверкая слова:

— Мий—нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

— Нитралитет—эта ладно, а только много вас?..

— Двасать тысись... — сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шопотом:

— А нас—милшен, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитет, грит, и желаю на острова ехать—рис разводить... Нам чорт с тобой—поезжай.

И в ладонь свою зло плюнул:

— Еще руку трясет, стерва!..

— Одно—вешать их!—решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

— Не пой!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и подскочив, как на ученьи, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

Ночь.

На койке в купе женщина. Подле черные одежды.

Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то, как-то...

— Запиши..

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком, написал:

— Приказ. По постановлению ..

— Не надо,—сказал Вершинин.—Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и ласковые. Говорят:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик и не верили ему и он сам не верил. Но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны, как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по Туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

XXX.

Город встретил их спокойно.

Еще на раз'езде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть и есть—наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

Не вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суеился Пеклеванов.

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, чернай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфете первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул под ряд несколько раз кодаком.

В штабе генерала Сомова ничего не знали.

Пышноволосяные девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка, и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу—опять бумаги, машинки, испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое и, не пробежав половины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежавший у лестницы труп генерала.

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба—было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу—чорт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко, и в нем угловатая покрытая черным волосом челюсть с мокрым, часто моргающим глазом. За дверью часто неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатык устало думал:

— А ведь когда буду бомбу бросать, отскочит от окна или не отскочит?..

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая как дыхание тайфуна томила город жара. И, как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь, на зеленовато-синей воде молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливно пела канарейка и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал приказ на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернилку и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки—огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстание...

И еще—через два часа подул с моря теплый и влажный темнозеленый ветер.

..Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубашках—приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох, волосом. И только непонятно, как неведомые руды, блестели у них округленные привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен—до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные густые, как весенние травы, пахнущие рыбами, волосы...

И еще—шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихоте-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым ровным, как у усталого стада, шагом..

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены под платьем сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровянились потрескавшиеся губы и выпячивался, подымая платье, крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами, ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу, черча в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по мышинному оглядывавший манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинеле, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

...И было ему непонятно стыдно не то за себя, не то за американца, не то за Россию, не то за Европу.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Глава первая — Партизаны у рельс!	3
Глава вторая — Человек чужой земли	11
Глава третья — В городе	23
Глава четвертая — Китаяц Син-Бин-У	30
Глава пятая — Прапорщик Обаб.	36
Глава шестая — Рельсы	46
Глава седьмая — Смерть капитана Незеласова	58
Глава восьмая — Пена.	70

Книги Всеv. Иванова.

Партизаны. Повесть. Изд. „Космист“. Петербург. 1921 г.

Партизаны. 2-ое изд. Главполитпросвета. Москва. 1922 г.

Кургамыш — зеленый бог. Сказки. „Космист“. ПБГ. 1922 г.

Бронепоезд № 14,69. Повесть. Изд. — Москва. 1922 г.

Логá. Рассказы. Изд. „Эпоха“. Петербург. 1922 г.

Глухой мак. Рассказы. „Эпоха“. Петербург. 1922 г. (печатається).

Собрание сочинений. Т. I. „Цветные ветра“. Повесть. Изд. „Эпоха“. Петербург. 1922 г.

Собрание сочинений. Т. II. „Ситцевый зверь“. Рассказы. Изд. „Эпоха“. Петербург. 1922 г. (печатається)
